

The background of the cover is a religious painting. It depicts the Virgin Mary standing in a landscape, holding a sword upright in her right hand. She has a halo around her head and is wearing a red and white robe. At her feet lies a skull. The scene is set outdoors with a tree on the right and a landscape in the background.

Иван Иванович
Евсеенко-младший

Голова Олоферна

Повести и рассказы

Иван Евсеенко
Голова Олоферна

«Издательские решения»

Евсеенко И. И.

Голова Олоферна / И. И. Евсеенко — «Издательские решения»,

В книгу вошли повести и рассказы, написанные автором в разные годы (1994—2013). Автору близка тема «маленького человека», являющейся одной из сквозных тем русской литературы. Писатель предлагает в который раз задуматься о том, что каждый человек имеет право на счастье, на собственный взгляд на жизнь.

© Евсеенко И. И.

© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Вечные похороны | 6 |
| Авдотья Львовна | 8 |
| Нелюбовь | 12 |
| Папин борщ | 14 |
| Последний парад | 19 |
| Тварь | 23 |
| Собачья жизнь | 28 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 30 |

Голова Олоферна
Повести и рассказы
Иван Иванович Евсеенко-младший

© Иван Иванович Евсеенко-младший, 2015

© Джорджоне, иллюстрации, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Вечные похороны

Очередное дежурство по гарнизону. Грязно-желтый, выдавший виды «пазик» жалобно побряхтывает возле входа в помещение оркестра. Мы – солдаты-срочники, вооружившись надраенными до неестественного блеска инструментами, топчемся на месте в молчаливом ожидании. Курим одну за одной, втягивая едкий дукатовский дым, не задумываясь почти, что он, прежде чем проникнуть в легкие, перемешивается с запахом выхлопных газов автобуса. Замечаю, как моя физиономия карикатурно отражается в зеркальном раструбе валторны одного из сослуживцев. Вспоминаю детство, «Комнату смеха» в городском парке. Тогда было действительно смешно...

Слава богу, большой барабан у меня сегодня деревянный. Таскаться с железным по кладбищенской не основательно замерзшей грязи было бы верхом несправедливости. Сверчи, как всегда, не в меру веселые и злые. Их пошлые «бородатые» шутки вынуждают меня отойти чуть в сторону. Издали чувствую их болезненное нетерпение. Видимо, кто-то уже подсуетился, заначив пару поллитровок на время долгой дороги. Наконец доносится бодрящее: «Пора...» Садимся... Выдвигаемся...

У «духа» Жени Мисина, уроженца славного уральского города Миасса, первый за службу жмур. Сидит беспокойно, беспрестанно ерзает, нервно перебирая озябшими пальцами вентили тубы, которая почти одного размера с ним. Рост Жени – метр пятьдесят. Кто-то из старослужащих зло пошутил, сказав, что по неписаным законам военно-оркестровой службы, в «первый жмур» «духам» полагается целовать покойника в губы. Женя поверил. Потому и трясется теперь, боязливо косясь на прожженных «дедов». Но иногда все же, словно подбадривая себя, мужественно поправляет очки, с силой вдавливая оправу в покрасневшую переносицу. Готовится боец!

Разливают пойло. В этот раз я ошибся. На дворе девяностый год, водки днем с огнем... Поэтому технический спирт – почти что напиток богов. По правде говоря, начальство выделяет его для самих инструментов, чтобы вентильные механизмы медно-духовых на морозе не крякнулись. Но на начальство сверчам плевать. Оттого используют «огненную воду» по своему усмотрению, то бишь внутрь. В этот раз на брата приходится почти по стакану. Стакан один на всех. Пьют залпом, но мелкими глотками, аскетично занюхивая безначинковой карамелью «Снежок». Выпив, почти синхронно закуривают и начинают забивать «козла».

Меня, как всегда, чуть подташнивает на заднем сиденье. То ли от подпрыгивающего на неровностях дороги автобуса, то ли от сперттого запаха в нем. Коктейль из технического спирта, сигарет «Дымок» и карамели «Снежок» – самый недорогой коктейль в мире... Некоторые солдаты не выдерживают, засыпают, неудобно подложив ребристые фуражки под стриженные головы.

«Странно, – справившись с тошнотой, про себя рассуждаю я, – почему мы сегодня в фуражках, а не в шапках-ушанках? Переход на зимнюю форму одежды давно позади... Видимо, хороним какую-нибудь шишку. Отставного генерала или полковника...»

Доиграв, сверчи утихомириваются и тоже постепенно отходят ко сну. Пилить еще минут сорок. За окном промозглый бесцветный ноябрь. Ни снега, ни дождя. Оттого делается еще зябче. Скорей бы настоящая зима. Со снегом теплее и уютнее. Прохожие, торопящиеся по своим гражданским делам, вызывают зависть. И нет им дела до нас. Вот бы мне так... Счастливые... Служить еще месяцев семь, это если без залетов, а так – и до сентября могут продержаться...

Я не выдерживаю наплыва упаднических мыслей и тоже засыпаю, приладив голову к обшарпанному кадлу барабана. Снятся домашние, неестественно большие пельмени, почти

манты. Затем фабричные заварные кольца с творогом и обитая рыжим дерматином дверь родного дома... Я подхожу к ней, жму на звонок и...

– Шевелим мудями! Выплываемся! – раздается хриплый голос старшины.

Домодедовское – самое мерзопакостное кладбище из всех московских. Ни одного деревца. Обглоданные ранними заморозками кустики черноплодки, и то по периметру. Широченное голое поле с желтыми холмиками, отдаленно напоминающими детские песочные куличики. Невдалеке по пояс раздетый могильщик роет яму. Пропорционально накаченный и не по-советски загорелый, чем-то походит на Жана-Клода Ван Дамма. Мне становится нестерпимо холодно при виде его. Где-то метрах в пятидесяти от нас по широкой песчаной дороге тянется очередь разноцветных катафалков и их сопровождающих. Кажется, что хоронят здесь, не переставая, и днем и ночью. Вечные похороны...

«Красный, черный, голубой, выбирай себе любой!» – неудачно пытаюсь пошутить я.

Конца этой очереди не видно. Глядя на увлеченного работой могильщика, понимаю: смерть – самое прибыльное занятие в нашей стране...

До Жени наконец доходит, что его жестоко обманули. Искренне радуется и расслабляется. Сверчи же цинично подтрунивают над ним, да и мы тоже не заставляем себя ждать...

Забивают третий гвоздь. Вступая не вместе, душевно выдаем Шопена. Не люблю «романтистов», особенно в переложении для духового оркестра. Куда больше по сердцу «венские классики». (Они так и остались незапятнанными.) Слышится женский вопль. (Наверное, хорошим человеком был тот генерал или полковник...) Но нас он совсем не трогает. Ни генерал, ни вопль по нему. Что поделать? Иммунитет... Впопыхах выдуваем гимн: «Славься, Отечество наше свободное...». Воспроизводить дробь на большом барабане с помощью одной колотушки в заиндеветавшей руке – почти искусство. Заставляют испуганно вздрогнуть выстрелы в воздух – типа салют. За полтора года службы так и не смог к нему привыкнуть.

Наконец-то все кончилось... Идем бодрым шагом к автобусу. Скорей бы в казарму и, как говорят стройбатовцы: «на массу»... По пути натываемся на скромно организованные похороны ребенка. Гроб бледно-розовый, маленький. Очень маленький... Провожающих трое: седоватый старик лет шестидесяти пяти и парень с девушкой, чуть за двадцать. Вдруг начинает идти снег. Первый в этом году. Крупнокалиберные хлопья покрывают за полминуты розовый ситец, и он выглядит еще более бледным.

Между тем, смахивающий на Ван Дамма могильщик говорит провожающим, что вроде как пора. Девушка обреченно кивает. Гроб медленно опускают в яму и потихоньку начинают засыпать коричнево-ржавой землей. Старик не выдерживает и, пряча лицо в ладони, плачет. Тут с девушкой случается истерика. Она что-то грубое выкрикивает в адрес парня и отчаянно трясет его за рукав пуховика. Неожиданно ее нога соскальзывает, и она падает в яму, прикрывая собой припорошенный гроб от летящих с совковой лопаты комьев земли. Старик и парень неумело помогают ей выбраться. Через какое-то время сладковатый запах корвалола доносится до меня запахом самой смерти. (Эта ассоциация останется в моем сознании навсегда.)

Ошарашенные увиденным сверчи шепотом матерятся, но неожиданно замолкают. Мы тоже молчим. Молчим до самых Хамовнических казарм...

Авдотья Львовна

Авдотья Львовна просыпается рано. Даже дворники не в силах с ней соперничать. Умывшись, ловко прилаживает акриловые протезы к оставшимся четырем молярам и, выждав, когда электрочайник, победно щелкнув, успокоится, заваривает цикорий с ромашкой. Пока напиток зреет, кладет полусантиметровой толщины кусок масла на ломоть маковой сдобы и, присев на край подоконника, ждет, когда из надтреснутого динамика грянет гимн. Первые аккорды заставляют ее чуть нахмуриться, сосредоточиться. К припеву же лицо просветлевает, морщины волшебным образом разглаживаются, а глаза наполняются таким светом и несвойственным пожилому возрасту блеском, что восходящее солнце кажется жалкой пародией на себя. Такое превращение происходит с ней ежеутренне в течение последних десяти лет. Именно столько она не обременена работой, заслуженно вкушая прелести пенсионного положения.

Муж Авдотьи Львовны Александр Сергеевич в это время спит тревожным сном алкоголика. Вздрагивает, матерится, беспрестанно ворочается и, кажется, даже во сне не находит себе места. Их режимы катастрофически не совпадают, как, впрочем, и взгляды на жизнь. Объединяет, пожалуй, одно – смирение.

В квартире живет еще несколько существ, одно из которых – Кеша, волнистый сиреневый попугай мужского пола. Он подает признаки жизни ровно к тому моменту, когда завтрак Авдотьи Львовны начинает интенсивно всасываться в стенки желудка.

– Кеша птичка! Сашка дурак! – по-человечьи, с хрипотцой выдает он. – Кис-кис!

Авдотья Львовна одаривает пернатого удовлетворенной улыбкой и, щедро наполняя кормушку пшеном, терпеливо отвечает:

– Да уж, Сашка у нас дурачок! А Кеша – птичка! Давай звать Маню! Кис-кис!

Прибегает Маня. Маня – рыжий кастрированный кот, половую принадлежность которого определили не сразу. Отсюда и имя. Маня достался Авдотье Львовне от уехавших за границу соседей. Сухой магазинный корм Маня не признает. С большим уважением относится к отварной селезенке и печени. Оттого, брезгливо обнюхав вчерашний «Вискас», трется жирными боками об ноги хозяйки.

– Тогда терпи.

Приняв к сведению, Маня уходит, нервно подергивая хвостом и кончиками ушей. Через минуту на кухню метеором влетает кот Василий. Серая шерсть дыбом, хвост пистолетом. Неприхотливый во всем, довольный жизнью как таковой и, соответственно, «Вискасом». (Его темное прошлое и плебейское происхождение не позволяют качать права.) И хотя у Василия есть заветная гастрономическая мечта, имя которой Кеша, он в очередной раз смиряется с ее призрачностью и потому жадно, по-мужски уминает оставшийся со вчерашнего вечера корм.

– Вот это по-нашему! Умница! – не нарадуется Авдотья Львовна, ставя на плиту кастрюльку с водой.

– Умница! – повторяет Кеша. – Кеша птичка. Сашка дурак.

Минут через пятнадцать запах поспевающей селезенки заставляет Маню вновь прибегать на кухню. Василий также не прочь вкусить натурального продукта, но, осознавая свою неисклucительность, облизнувшись, убегает восвояси.

Часам к девяти «дети» (так свою живность называет Авдотья Львовна) накормлены, а значит, можно спокойно выйти на улицу и утолить жажду общения с себе подобными.

Мария Арнольдovна – лучшая подруга Авдотьи Львовны. Их дружба зиждется на неприязни мужей-алкоголиков и любви к животным. Встречаются у выхода из подъезда. Улыбаются, вздыхают, сетуют.

– Со своими управилась? – выказывает особое понимание Мария Арнольдovна, поправляя черный, как строительная смола, парик.

– Да, Маш, накормила, напоила! Как без этого? Они ж как дети мне!

– А мой Рексик приболел маненько. Вчера в ветпункт снесла. Говорят, диспепсия.

Авдотья Львовна понимающе качает головой, разводит руками, жалеет Марию Арнольдovu и Рексика.

– Даст бог, все наладится. Смекты наведи ему.

– Дочь не заходит? – неожиданно спрашивает Мария Арнольдovна, опустив подведенные синей тушью веки.

– Дочь?! – брезгливо выдавливает Авдотья Львовна. – Нет у меня, Маш, никакой дочери. Знать ее не хочу.

Солидарно вздыхают. Минуту спустя Авдотья Львовна распалается:

– Это ж надо. Выйти замуж за... – как его?.. – стриптизера! Стыд-то какой! Тьфу! Эльдаар! – Разводит руками и приседает на широко расставленных ногах. – Имя одно чего стоит. И ребятенка назвали не пойми как! Не то Арнольд, не то Оскольд.

– Арнольд Эльдарович! Мда, намудрили.

– Вот и я о том же! Не хочу их знать. И все тут. Пусть сами разбираются со своей жизнью. Посмотрим, что у них получится.

– Ясно дело – ничего! Понаиграются, да разбегутся!

– Во-во, да ребятенку жизнь покалечат! Ироды!

– Ладно, бог с ними, пойдем гулей кормить.

Пока Авдотья Львовна с Марией Арнольдovной кормят окрестных голубей хлебными крошками, Александра Сергеевича уже полчаса упорно будят телефонные звонки.

– Ну что за беспредел, твою мать! – натягивает на голову одеяло Александр Сергеевич. – Кому там нейметя?

Но телефон не перестает звонить, вселяя болезненное раздражение в потенциального абонента.

– Дааа!!! Кого надо?! – злобно рычит в трубку Александр Сергеевич. Но тут же смягчается: – Доча, ты? Прости старика. Спал я. Мать где? Ушла своих кормить. Как ты? Как Арнольдик? Не болеет? Ну и слава богу. Я? Да нормально. Вроде не болит ничего, так, иногда радик прихватит. Что? Финалгон?! Да ну на х..! Водкой разотру, проходит. Нее, боже упаси, ни капли! Так, по праздничкам. Да что рассказывать? Ты же знаешь. Ее не перевоспитаешь. Горбатого могила исправит. Такие вот дела. В гости не зову, сама понимаешь. Ну, да ладно. Звони. Целую всех вас. Эльдару привет от меня. Все...

После разговора еще долго сидит на кровати, обхватив взъерошенную вспотевшую голову ладонями. Что-то невнятное бормочет под нос, но подступившая к горлу тошнота вынуждает замолчать, с трудом подняться и дойти до уборной. В желудке ничего, кроме желчи. Кое-как ополоснув лицо, прикладывается ртом к кранику. Напившись, кряхтя и кашляя, согбенный, проходит в кухню. На подоконнике, в тени цветущего лимонника, лежит Маня. Заметив Александра Сергеевича, боязливо отворачивает голову к окну и делает вид, что заинтересован бьющейся в межоконном проеме мухой.

– Ну, не хочешь здороваться, не надо. Где-то у меня оставалось, если только бабка не вылила.

Находит за батареей початую чекушку, жадно выпивает и заедает неубранной со стола звездочкой «Вискаса». Через минуту алкоголь действует, и Александр Сергеевич чувствует прилив сил, как физических, так и душевных. Осмелев, развязно поворачивается к Мане, претенциозно скрещивает руки на груди, хитро щурит подернутый катарактой глаз и начинает в тысячный раз знакомый обоим разговор:

– Ну, вот, ответь мне, хто ты таков есть? А?!

Маня в ответ недовольно фыркает, пугается, случайно задев плоды лимонника, но терпит.

– Гляжу я на тебя и не пойму! Мужик ты али баба? Какого рожна тебя держат? Ради какой такой прогрессии? Мышей не ловишь, Васька для того поставлен. Гладить тебя – себя не уважать! Каков от тебя, кастрата, прок? Ответствуй! А, молчишь?! То-то...

Маня не выдерживает, обиженно спрыгивает с подоконника и убегает.

– Правильно, давай, шелести отседова, андрогин несчастный!

А потом еще вдогонку, срываясь на фальцет:

– А дочь меня любит! Отца-то! Не забывает! Так-то!!!

Смахивая слезу со щеки, пробирается в коридор, находит куртку и, потев от волнения, шарит за подкладкой. (Память, увы, не дает положительного ответа о наличии заначенного вчера полтинника.)

– Ну, вот! Молодца! – отыскав, любовно разглаживает сложенную вчетверо купюру. – Поправится Саша, значит!

– Сашка дурак! – отвечает на удар захлопнувшейся двери Кеша.

Возвращающиеся с утренней прогулки подруги издали замечают торопящегося Александра Сергеевича.

– Вон, гляди, твой поковылял! Невмоготу, видать! – восклицает Мария Арнольдовна.

– И не говори, Маш. Когда ж они до смерти-то налакаются? Поверишь ли, сдохнет – не заплачу! Всю жизнь мне измызгал дурью своей! Себя да других измучил! А Бог терпит. И мы... Ты в поликлинику завтра пойдешь?

– Да! К глазнику. Внутриглазное проверить.

– Вот и я к зубному. С протезом – беда...

Расходятся по домам, пообещав встретиться вечером. Возвратившись, Авдотья Львовна в очередной раз кормит своих питомцев, производит влажную уборку во всей квартире, кушает картофельный суп с клецками и, усевшись в старое выцветшее кресло, включает телевизор.

Как и многие люди ее возраста, она боготворит сериалы. Смотрит их внимательно. На рекламу не уходит, опасаясь пропустить самое значительное. Знает по имени каждого героя и всем сердцем болеет за судьбы полюбившихся персонажей. Искренне, по-детски расстраивается, если по какой-то причине пропускает серию. Но, посмотрев ее следующим утром при повторном показе, успокаивается и умиротворенно живет дальше.

Сериал, по мнению Авдотьи Львовны, обязаны смотреть все члены семьи (Александр Сергеевич не в счет), поэтому даже клетка с Кешей переносится на время телесеанса из кухни в зал, где торжественно устанавливается на табуретку вблизи телевизора. Маня вальяжно устраивается на коленях хозяйки, Василий в ногах. Первые минуты смотрят молча, словно боятся нарушить намеченный в предыдущих сериях ход событий. Вскоре, убедившись, что все идет по плану, бросают разного рода реплики.

– Правильно! – со знанием дела говорит Авдотья Львовна. – На кой черт ей этот Хорхе сдался. Сам как петух в курятнике, а все ему мало!

Маня с Василием в ответ многозначительно переглядываются и в знак полнейшего согласия довольно урчат.

– Сашка дурак, – резюмирует Кеша. – Кис-кис.

Коты по привычке вздрагивают. Авдотья Львовна добрым взглядом успокаивает их, почесывая Мане шею:

– И Сашка, да... такой же козел был. Еще похлеще! Все они ходоки, пока пороху хватает, а как кончится, так к бутылке присасываются.

Где-то на середине серии слышится лязг ключей в прихожей. Это в стельку пьяный возвращается Александр Сергеевич. На щеке свежая ссадина, карман куртки разорван по шву, в руке – накрытая одноразовым стаканчиком поллитровка.

– Что, бля?! Отец вам не тот?! Пригрелись да?... На шее... су... Я, погодите, устрою вам, где р...

Круша все на пути, проходит в свою комнату, падает на диван и засыпает.

– Легок на помине-то! Варвар, – вздыхает Авдотья Львовна. – Ладно, ну его...

К концу сериала Авдотья Львовна почти всегда засыпает. Сегодняшний день – не исключение. Коты тоже бы не прочь заснуть, но храп хозяйки настолько громок и необычен, что сделать это почти невозможно.

Снится Авдотье Львовне в последнее время один и тот же сон. Будто она-первоклассница возвращается из школы домой. Причесанная головка в огромных белых бантах. Поверх школьного платья белоснежный накрахмаленный фартук с развесистыми кружевами. Ножки в белых праздничных гольфиках и розовых лакированных туфельках с красной каймой по краям. За спиной новенький кожаный ранец, к первому сентября родителями подаренный. В нем учебники разные, пенал с ручками, да тетрадки с первыми четверками и пятерками. На радостях по пути забегает в кондитерскую и покупает у продавщицы тети Любы (маминой знакомой) сто граммов ирисок. Тетя Люба отпускает, добавляя бесплатно еще парочку, добродушно улыбается и машет рукой вслед.

– До свидания! – весело говорит девочка.

Выйдя на улицу, исподлобья глядит на солнышко, словно спрашивая: «Можно?!» Солнышко улыбается: «Можно!» Авдотья Львовна аккуратно разрывает пакетик, смотрит на конфетки, не спеша, любит обертками. Во сне они не такие, как наяву – блеклые и неинтересные, а наоборот – блестящие и разноцветные, как узоры в калейдоскопе. Звонко смеясь, разворачивает, кладет в ротик, жует своими наполовину молочными зубками, прикрывая от удовольствия глазки. И кажутся ей эти ириски такими сладкими, такими необычными... Они точно тают во рту, как сладкий волшебный снег, заставляя думать, будто нет на свете ничего вкуснее и замечательнее...

И все было бы как и прежде, если бы на этот раз одна, последняя ириска не оказалась такой твердой, каменной будто, что разжевать ее семилетней Авдотье Львовне оказывается не под силу. Плачет она от бессилия и обиды во сне своем детском, и наяву тоже плачет, всхлипывает. Да так жалобно, так громко, что попадает эта самая ириска ей в дыхательное горлышко и застревает там намертво. Ни туда, ни сюда..

От нехватки воздуха охваченная ужасом Авдотья Львовна просыпается. Испуганно качает всем телом из стороны в сторону и силится позвать на помощь Александра Сергеевича.

– Са... шаа... – с трудом вырывается у нее из груди.

– Сашка дурак, – отвечает ей Кеша. – Кеша птичка. Кис-кис.

Маня в ужасе спрыгивает с трясущихся колен хозяйки и вопросительно смотрит на Василия, который хотя и не теряет самообладания, но на всякий случай отбегает в сторону. Притаившись, не моргая, выжидающе смотрит медно-желтыми глазами на задыхающуюся хозяйку. Мгновение... и силы вовсе покидают ее. Кот мужественно опускает голову, шевелит усами и уходит прочь, случайно задев хвостом кусочек зубного протеза, так поздно выпавшего изо рта Авдотьи Львовны.

Нелюбовь

Есть ли что-нибудь на свете печальнее, чем ухаживать за девушкой, которой нет до тебя никакого дела. Дарить каждую пятницу букет из двадцати семи желто-красных роз (по числу лет избранницы) и получать в ответ обжигающее арктическим холодом: «Зачем?»

«Действительно, зачем?» – думаю я.

Ей же мямлю:

– Тебе не все равно?

Она кидает чуть раздраженное «хм», берет букет, ставит в казенную хрустальную вазу, сиротливо стоящую на пластиковом подоконнике, а вечером уходит, оставляя в полном одиночестве мой презент. Дня через два уборщица нашей конторы Гульнара с довольной улыбкой уносит цветы с собой. Я давно смирился с этим и, положа руку на сердце, не сильно расстраиваюсь. Меня несказанно радует тот короткий миг, когда объект моего воздыхания неизбежно натывается взглядом на букет, округляет по-кошачьи зеленые глаза, которые на мгновение будто вспыхивают от огненно-оранжевого цвета сорта «амбианс». Собственно, все ради этой вспышки и делается...

Случается, за ней заезжает ее нынешний. Солидный, ухоженный, на темно-синем «мерине». (Мой дышащий на ладан «Ситроен» в сравнении с его – лишь жалкая пародия на авто.) Тоже с букетом, одноименного формата, только алым, цвета артериальной крови. Но его она берет с явным удовольствием и нетерпением. Дает себя поцеловать в щеку, обнять и отвезти в дорогой, как я понимаю, ресторан. Я наблюдаю за этой душещипательной сценой из окна своего кабинета. Стиснув зубы, чувствую, как все мое существо сжимается, наполняясь гнетущим страхом, который спустя пару сигарет сменяется беспросветной не отпускающей тоской. Тоской по ней. С этой-то тоской я и приезжаю домой, выпиваю пару бокалов вина и даю волю глупым надеждам. Они, как извивающиеся змеи в мешке факира, копошатся в моей полупьяной голове, меняя на пару часов настроение в лучшую сторону. Дай бог после незаметно уснуть...

Утром ужас будит меня. Ничего не изменилось. Пока собираюсь на работу, он, как угарный дым, постепенно рассеивается, оставляя легкую пригарь все той же вялотекущей тоски. Приезжаю на работу. Опять вижу ее... Красивую и надменную. И хотя она почти не выходит из своего кабинета, знакомый запах духов преследует меня повсюду. Терпкий и вызывающий, как ее нелюбовь ко мне...

Бывает, она достаивает мою скромную персону неслышанным вниманием, неестественно дружелюбно здороваясь со мной. Так и подмывает резануть: «Да ладно тебе. Обойдись». Но я улыбаюсь и так же натужно бодро отвечаю:

– Привет. Прекрасно выглядишь!

– Я знаю.

Но иногда случается странное. Обычно это происходит в один из выходных или праздничных дней. Звонит мне на домашний телефон часов в девять вечера. Что и говорить, «голос томный и глубокий»:

У меня много вина, впрочем, как и глупости... Приезжай...

Срываюсь с места, как спринтер с колодок. Мой бедный «Ситроен» показывает, что еще способен на удаль молодецкую, неожиданно обгоняя своих более симпатичных и свежих собратьев. По пути покупаю все тот же букет и счастливым слюнявым спаниелем врываюсь к ней.

Она пьяна. Но не настолько, чтобы не суметь казаться способной говорить со мной.

– Как ты? – отвлеченно, словно из вежливости спрашивает она.

– Как всегда... х... – улыбаюсь придверному коврику я.

– Ну и правильно, – бесцеремонно ставит на моем минусе вертикальную жирную черту она. – Давай выпьем.

Пьем. Невзначай подсаживается ко мне. Обнимает за шею. Пристально смотрит в глаза, нижней губой целует в щеку, а после пальчиком аккуратно стирает свой поцелуй.

– Ты все такой же, – почти мурлычет, положив голову мне на плечо.

– Какой?

– Несчастный.

Неожиданно начинает жадно целовать мое лицо. Мне катастрофически не хватает воздуха, чувствую, что задыхаюсь, как поется в песне, «от нежности...»

«Ах, вот как это бывает?!» – ухитрюсь сделать глоток воздуха.

Впопыхах раздраженно сбрасывает с себя одежду и повторяет шепотом давно знакомые слова:

– Люби же меня, люби...

В часов шесть утра просыпается, стыдливо осматривается и рукой находит мою руку, словно пытается понять, на месте ли я.

– Ты еще здесь? Тебе пора.

Второпях одеваясь, стараюсь не смотреть на нее. (Знаю, что сидит, склонив голову, по-детски прячась от меня в растрепанных волосах.) Но до слуха все же доносится сдобренный отборным матом шепот. Подхожу к двери, открываю и слышу за спиной холодящий душу постскриптум:

– Извини, что так вышло... Дура я...

Смешанное чувство накрывает меня. Сладостная печаль или печальная сладость?! Не знаю. Скорее, светлая грусть. Ей и живу...

Мы развелись три года назад, прожив перед этим семь лет вместе. Почему и как такое случилось, теперь неважно. Важно лишь то, что мне пора идти...

Папин борщ

Сёмушка ехал по узенькой каштановой аллее на трехколесном велосипеде, я шел следом и украдкой наблюдал за его маленькими пухлыми ножками, так весело крутящими педали. Прохожие вежливо расступались перед ним, нахваливали, добродушно улыбаясь и вздыхая.

– Дорогу молодым! – провозгласил сидящий на лавке седовласый старик. – Ишь, какой! Молодец, пацан!

Я смотрел на сына с нескрываемым умилением, поражаясь лихости и аккуратности, с которыми он объезжает препятствия. Позавчера ему исполнилось четыре года.

– Папа! – неожиданно остановился он. – А где твой папа?

– Умер... Давно.

– Зачем?

– Заболел и умер.

– А-а... – задумчиво протянул он, но потом отвлекся на барахтающегося в песке воробья, улыбнулся ему и покатил дальше.

«Заболел и умер». Так или примерно так отвечал на подобные вопросы мой отец. Наверное, он тоже в свое время это от кого-то услышал. Может, от своего отца. Фраза закрепилась, осела в сознании непоколебимой аксиомой и наконец дошла до меня. Что ж, удобный ответ. Исчерпывающий, окончательный. Вот такая цепочка. Связь времен и поколений, от старого к малому.

Я давно для себя отметил, что воспоминания об отце живут во мне вспышками, похожими на те, которые возникают в ночном небе в преддверии дождя. Они возникают неожиданно, спонтанно, будто светом своим пытаются предварить очистительную дождевую бурю понимания того, что в действительности значит для меня отец.

Из-за службы на Тихоокеанском военно-морском флоте большую часть жизни он находился в плавании. Учения, морские походы к дальним берегам не позволяли подолгу быть с семьей. Тогда, в безоблачном детстве, это не слишком тревожило меня. Казалось, что так, скорее всего, и должно быть, что подобное, видимо, происходит у всех детей. Мало смущало и то, что моими истинными воспитателями являлись мать и бабушка. Я рос смышленным мальчиком, и им было очень приятно возиться со мной. Отец, возвращаясь из череды командировок, лишь с оценивающей улыбкой смотрел на меня и, поглаживая подернутые ржавчиной прокуренные усы, нутряным басом констатировал:

– Ишь, какой! Молодец, пацан!

В точности, как этот дед на лавке... Покуда я был совсем маленьким, то смотрел на отца, как на Деда Мороза. Еще бы, он появлялся неожиданно. Разумеется, все знали о предполагаемом времени приезда, но для меня это почти всегда оказывалось сюрпризом. Может, потому, что я, как всякий ребенок, уставал ждать и забывал. Порой я настолько утомлялся многомесячным ожиданием, что выуживал из памяти разного рода приметы его возвращений и невольно заучивал их. Странно, но я научился узнавать его по скрежету ключей в замке, которые от нечастого применения долго не могли оживить сувальдный механизм. Одетый в черный китель, пахнувший табаком, гуталином и еще чем-то грубым и мужским, он грузно входил в коридор, небрежно ставил на пол пузатые кожаные сумки и по неосторожности задевал фуражкой люстру, которая словно маятник начинала опасно раскачиваться. (Как я тогда мечтал поскорее вырасти и тоже задевать эту люстру!) Хитро прищурившись, отец осторожно останавливал ее, снимал головной убор и, спешно пригладив начинающие серебриться волосы, предоставлял нам всего себя. Квартира в одночасье накрывалась волной радости, наполнялась приятной суетой и ожиданием торжества, сравнимого только с Новым Годом и Днем Рождения. В первую очередь он подходил к бабушке – своей маме, трижды целовал ее в бледные морщинистые

щеки, ласково гладил по голове. Затем целовал мою маму. И уж после этого брал меня на руки, надевал капитанскую фуражку мне на голову и долго смеялся тому, как забавно я в ней смотрюсь.

– Ничего! В следующий раз бескозырку привезу, – обещал он. – Будешь моряком?

– Не-а! – четко звонил я. – Капитаном хочу!

– Ну, раз хочешь, будешь! Но сначала – моряком.

И так было всегда. Все мое раннее детство пронизано томительно-радостным чувством ожидания отца. В такие дни я даже предположить не мог, что когда-нибудь это может закончиться, оборваться в одно мгновение...

Однажды пришла телеграмма. Мол, ждите завтра. Мы принялись резко готовиться: покупать продукты, звонить родственникам. Помню, как мама достала из глубин шифоньера свое самое красивое шелковое платье с крупными желто-красными герберами и долго гладила его. Бабушка все утро пекла пироги с капустой и варила компот из сухофруктов. Где-то к полудню они решили пойти на рынок купить недостающую зелень и гуся. Я остался один.

Что делал я в те часы? Не помню. Может, уроки, или прибирался в своей комнате. Ведь к тому времени мне исполнилось десять лет. Кажется, я тайком успел помечтать о том, как покажу отцу школьные грамоты и похвальные листы за прошлое полугодие. С гордостью продемонстрирую модель линкора «Советский Союз», который несколько месяцев склеивал по замысловатым чертежам из подаренного отцом научно-популярного журнала. Представлял, как он удивится моему не по годам высокому росту и, наверное, уже не рискнет взять на руки. Я так размечтался тогда, что не услышал звук знакомых шагов в прихожей. Я не поверил своим ушам, ведь этого не могло быть. Все должно было случиться завтра... Но нет, отец уже стоял в коридоре, такой же, как всегда, улыбающийся и родной.

– Сашка! Ты что ж, один? – воскликнул он, увидев, как я со всей мочи бегу к нему.

– Папка! Как я рад!

– А где мама, бабушка?

– Они за гусем пошли на рынок! – почти кричал я, крепко обнимая отца за шею.

– Да?! Ну, ничего. Какой же ты большущий-то вымахал! А я теперь надолго. Ну, рассказывай!

Мы усадились на кухне и некоторое время в радостном молчании смотрели друг на друга. Потом неожиданно рассмеялись, и я без умолку затараторил о своих школьных успехах, о том, как изо всех сил ждал его долгие месяцы, о том, как мы с ним поедем рыбачить и еще о чем-то, как мне казалось, очень-очень важном. Он смотрел на меня немного отстраненно, не слушая будто, но в то же время внимательно, словно пытался уловить во мне скрытые от других, и видимые лишь ему одному перемены. Пару раз потрепал мой непослушный чуб, улыбнулся разорванной на локте рубашке и довольно пробасил:

– Ишь, какой! Молодец, пацан!

Прошло полчаса, отец, насытившись моими рассказами, встал с табуретки и пошел переодеваться. Вскоре он вновь появился на кухне, теперь уже в спортивном костюме, из-под куртки которого треугольником виднелась флотская тельняшка. Выпив чаю и покулив, он неожиданно повернулся ко мне и заговорщическим шепотом спросил:

– Саш, а поесть-то у нас что-нибудь найдется?

Я тут же вспомнил о бабушкиных пирогах, компоте, и незамедлительно предложил их ему.

– Пироги, это, конечно, хорошо, – хитро улыбнулся он, – но для таких серьезных мужиков, как мы с тобой, несолидно. Как считаешь?

Не зная, что ответить, я недоуменно повел плечами и вопросительно посмотрел на отца.

– Женщины-то наши, поди, не скоро вернутся. Давай, пока они там на гуся охотятся, сварганим настоящий украинский борщ! А, Сань?!

Я, зная, что отец – морской офицер, командующий не одной сотней матросов, удивленно поднял брови и недоуменно, даже чуть обиженно пробурчал:

– Готовить?! Да разве ж это мужское дело?

Отец дружески хлопнул меня по плечу, улыбнулся и вполне серьезно ответил:

– Знаешь, Сашка, по большому счету, нет на земле таких дел, которыми не имеет права заниматься настоящий мужик. А уж борща сварить завсегда уметь должен. Овощи есть какие?

– Шас гляну. Вроде есть, на балконе.

Пока я рылся в бабушкиных запасах, отец выискал в углу морозильника увесистую говяжью кость, обозвал ее мослом, и вскоре она горделиво выглядывала из пятилитровой кастрюли.

– Молодца! – довольно сказал он, увидев, как я затаскиваю пакет с овощами на кухню. – Картошку чистить умеешь?

– Не знаю! Не пробовал! – испуганно ответил я.

– Ну, вот, сейчас и узнаем, какой из тебя моряк. Главное, запомни, кожура должна быть толщиной в газетный лист.

Я поставил перед собой помойное ведро, эмалированную миску с водой, взял самый острый нож и принялся за дело.

«Эх, чтоб ее... Знает ведь, о чем говорит!» – сокрушался я, едва справляясь с очередной «синеглазкой».

Кожура, несмотря на все ухищрения, получалась миллиметра три толщиной. Отец изредка поглядывал на мои «успехи», а сам, тем временем, ловко резал репчатый лук. А выходил он из-под его ножа маленький, ровными, впечатляющими конвейерной одинаковостью квадратиками. Удивляло и то, что я, сидевший в двух метрах от отца, просто-таки истекал луковыми слезами, а он, непосредственный резчик, спокойно, бесслезно кромсал ядовитый овощ.

– Штук пять есть? – спросил он, высыпая нарезанный лук в бульон.

– Ага!

– Еще две и баста!

Сколько раз я ел бабушкины супы и борщи, совершенно не задумываясь над тем, что всему этому предшествует. Настоящим откровением стал для меня процесс тушения тертой свеклы и моркови. Изодранные до крови пальцы, содранные ногти вызвали во мне тогда и сохранили до сих пор непоколебимое уважение к женскому труду. Испробовав на самом себе все тонкости и премудрости приготовления борща, я никогда больше не оставлял порцию чего-либо недоеденной.

Нужно было видеть, как округлились мои глаза, случайно застав момент превращения бесцветного говяжьего бульона в бордовую, с оранжево-золотистыми вкраплениями жидкость, впоследствии называемую борщом. Вот так химическая реакция! Вот так дела!

– Пусть свекла проварится, как следует. Потом картошку закинем...

– А капусту? – проявил нетерпение я.

– Ее в самом конце...

Шинковал капусту отец сам. Процесс точь-в-точь напоминал ранее описанную резку лука. Бабушка, которую до сего дня я считал лучшим поваром в мире, теперь сдала позиции. Капуста получалась одинаковой длины, а ее толщина не превышала двух миллиметров. Это выглядело очевидным, но невероятным. Где и при каких обстоятельствах получил поварские навыки мой отец, я не знал. Для меня, прежде всего, он оставался морским офицером.

Наконец борщ был готов. Отец снял кастрюлю с плиты, поставил на алюминиевую подставку, достал из кухонного шкафа глубокие тарелки, половник и...

– Сашка! А хлеба-то у нас нет! – развел руками он, заглядывая в пустую хлебницу.

И действительно, хлеба ни крошки. Мама и бабушка как раз и пошли на рынок купить недостающее к предстоящему празднику.

– Вот тебе рубль! – быстро нашелся отец. – Будь другом, сгоняй, возьми булку белого и половинку черного. Ну, и мороженого.

Я без промедления обул сандалии, накинул ветровку и что есть мочи помчался исполнять отцовское поручение. Эх, как же я радовался всем этим поручениям. И было почти неважно, какие они, главное, что исходили от отца.

По дороге в булочную встретил соседа по этажу дядю Витю – в прошлом тоже моряка, мичмана.

– Что, отец надолго приехал? – не выпуская изо рта загубник красно-коричневой бриаровой трубки, спросил он.

– Надолго! – ответил я и помчался дальше. – Потом расскажу... спешу я...

Дядя Витя кивнул и, кажется, сказал еще что-то. Это «что-то» я расшифровал много позже, став взрослее...

Мальчишки во дворе откуда-то прознали о приезде моего отца и с нескрываемой завистью смотрели вслед. У многих из них родители также были связаны с морем. Кто рыбачил на дрифтерах, кто работал спасателем, кто простым моряком. Но мой отец служил морским офицером, а это куда значительнее.

Продавщица тетя Вера, как оказалось, тоже знала о приезде.

– Маме скажи, забегу вечером. «Птичье молоко» завезли, отложила вам. Папку, смотри, с дороги не мучай...

– Хорошо тетя Вер, не буду... – засмеялся я и с удвоенной силой побежал обратно.

Дверь не была на защелке (стоило ли ее закрывать, если знаешь, что вернешься через три минуты), поэтому я вошел в квартиру без звонка и ключа. Отец сидел за кухонным столом, положив голову на скрещенные руки. Казалось, что пока я бегал, он просто заснул.

– Пап, нам тетя Вера торт отложила, «Птичье молоко», – нарочито громко сказал я, надеясь разбудить отца. – И хлеба купил. А мороженого мне нельзя пока, болел недавно.

Отец не отзывался. Я зашел на кухню и легонько похлопал его по плечу. Отец молчал. Пришлось толкнуть сильнее, и в эту же секунду он рухнул всем телом на пол. В испуге я отпрянул назад, стараясь не смотреть, но потом заставил себя повернуть голову в сторону распластанного отца. Серые стеклянные глаза его были широко открыты и смотрели в никуда. Я опустился на колени и принялся что есть силы трясти его за плечи. Он по-прежнему не отзывался, продолжая так же страшно смотреть. Мной овладела истерика, я снова попытался его расшевелить, бил по щекам и кричал:

– Папка, вставай! Что ж это такое! Я тебя так ждал! А ты! Несправедливо...

Сколько это продолжалось, не помню. Чьи-то незнакомые руки оттащили меня, оставив в моей ладони бегунок от «молнии» отцовского спортивного костюма. Помню, кто-то дал мне таблетку и я уснул.

Похоронили отца, как и положено, на третий день. Бабушка не присутствовала на похоронах, ее еще в день смерти увезли с сердечным приступом в больницу. Мама до и после похорон все время лежала на кровати, отвернувшись к стене. Спала и плакала во сне, изредка поднимаясь покормить меня. Только сейчас понимаю, насколько она была молода, совсем девочка. Наливала в тарелку наш с отцом борщ и снова ложилась.

Я сидел по часу над ним, помешивал, рассматривая тот самый лук. Слезы нарастающей обидой подступали к горлу, не давая думать о еде, все капали и капали в борщ. В конце концов я отставлял тарелку в сторону и шел к себе в комнату.

Как рассказал мне спустя годы дядя Витя, отец попал под первую волну сокращения, что, видимо, и явилось одной из причин его скоропостижной смерти...

Сёмушка тем временем укатил настолько далеко, что, не на шутку испугавшись, остановился и заплаканными глазами выискивал меня среди прохожих.

Я заторопился к нему.

- Ну, что ж ты от папки так далеко уехал? —упрекнул его я.
- Пап, а у тебя шарф теплый? – рукавом утирая слезы, спросил Сё-мушка.
- Какой шарф? Сейчас же лето.
- Который мама связала. Синий.
- Конечно, теплый. А что?
- Значит, не заболеешь! – улыбнулся Сёмушка и поехал дальше...

Последний парад

То ли дело мой первый парад. Осенний, ноябрьский, восемьдесят девятого. Один из старослужащих говорил тогда, показушно стряхивая пепел в ладошку, вспоминал свой первый:

– Гимн играешь и сам себе удивляешься – мурашки по коже, слезы на глазах. Гордишься происходящим и своей причастностью к чему-то великому, настоящему...

Не верил я ему тогда. Да и никто не верил из молодых. Слушали, посмеивались в сигарету. А время подошло – узнали, ощутили кожей. Сердцем поняли, что не все так просто и приземленно. Как ни крути, есть в этом действе что-то мистическое, неподвластное раскудку и воле. Точно есть. Да и как не быть, тысяча человек трубит одно. Но это одно – выстраданное, великое, необходимое, как кровь. Стоим, вытянутые в струну – винтики-шпунтики, но не понятно почему, непередаваемо приятно ощущать себя этим винтиком. Гордыня – через пятки в землю, гордость – свечой в груди. Парадокс, но факт. А тут дождь еще. Брусчатка мокрая, скользкая, зеркально-серебристая. Боязно по ней расхаживать в хромовых сапогах на тонкой гладкой подошве. Опасаешься, как бы не навернуться на глазах у всей страны. Тоскуешь по кирзачам. Тем не менее, шагаешь, чувствуя ступней каждый бугорок, каждую выемку. И знаешь, что помнят эти бугорки и выемки другие сапоги, тех других, которым мы – не чета.

Теперь иное дело. Всё знаешь, ничему не удивляешься. Всё по накатанной. Вертушка, репертуар. Запах гуталина и мефикса, аксельбанты, бляхи на белых лакированных ремнях, солнечные зайчики повсюду от меди надраенной. Хотя дата обязывает относиться к делу с особым усердием. Сорок пять лет со Дня Победы, как-никак.

Попутру армейский харч не лезет. Чай да хлеб с маслом запихнешь в нутро, «явкой» на халявку подымишь – и на аэродром. Репетировать! Пока доедешь, голод предательски даст о себе знать. А там пища только «духовная» или, лучше сказать, духовая, в виде маршей и «зорок». Крышу от них рвет с корнем: «Все выше и выше, и выше...» И так пару десятков раз за день. Один «Десантный батальон» Окуджавы, пожалуй, радуется. Но его редко исполняем – когда техника катит. А катит она медленно, мощно, окутывая всё и вся черно-сизым мраком выхлопных газов. Намертво заглушает звериным рыком тысячный оркестр. И не помогут тут ни трубы, ни барабаны, ни геликоны. Безоговорочно капитулируешь перед ней, ощущая явную бесполезность оркестровых партитур в военном деле. Понимаешь или догадываешься, что такое война. Примерно, конечно. Они ж, дуры, просто едут, не стреляя, не взрывая. А если по-другому?! Не приведи Господь.

Периодически привозят ветеранов. Строят. Командуют стариками. Учат маршировать, держать равнение, тянуть носок. Заново. Они не то, что мы. Подход к делу сознательный. Знают, что за праздник, не по календарю знают, и цену ему. Стараются изо всех сил, правда, не без волнения. Как дети переживают, если что не так получается. Больно смотреть порой. Слава богу, для них, ну и для высшего командного состава, конечно, расположили на обочинах темно-зеленые шатры – полевые буфеты. В перерыве заскочил в один на свой страх и риск: пепси-кола, бутерброды, печенье. Нормально. Там же невдалеке «скорая» на стреме. Кому-то из стариков, помню, стало плохо. Увезли...

До генеральных репетиций на Красной площади дней пять-шесть. Приехал начальник московского гарнизона. Посмотрел на все это «безобразия» и... забраковал. Типа, как в том анекдоте: танки едут не туда, пехота бежит не сюда, а если война, кто будет Родину защищать? Но если серьезно, не понравилось ему все, как говорится, от увертюры до коды: и как войска шагают, и как техника едет, и даже ветераны какими-то не такими вышли – вялыми, что ли. Оркестру тоже досталось «по самый си бемоль». Наш музыкальный генерал в тот роковой день походил на рядового, даже генеральская звезда потускнела и уменьшилась до лейтенантской. Бегал, кричал, страшал. В итоге, приказал все поменять к ядреной фене. И это за неделю-то

до парада! Прикрепленные к нам дирижеры-майоры после этого как с цепи сорвались, не зная, что придумать. Придумали. Ввели в программу парада дефиле. На человеческом языке это что-то вроде танца с музыкальными инструментами. И правда, нет ничего забавнее танцующего солдата... Тут главное не запутаться. Запомнить, куда поворачивать и сколько шагов идти. Меня бог миловал, в этом смысле.

– Это ж надо, – говорил один мой сослуживец тогда, – месяц мурьжить, заучить все как следует, а за несколько дней до мероприятия поменять. И так все осточертело. Люди, наверное, смотрят на нас, и понять не могут: чем это солдатики занимаются?! Парад репетируют или дерьмо под музыку месят?!

И впрямь, все осточертело и всех достало.

Парадная подготовка начинается месяца за три с половиной до самого парада. Сначала в самих частях. Учим репертуар, ту же вертушку сдаем по одному старшине или начальнику оркестра. Потом в «Лужниках» доводим до ума. Опять же, что-то вроде экзамена. Все оркестры московского гарнизона раскидываются по лужниковским аллеям и паркам. Соревнуются между собой, кто громче, кто четче.

А уже после всего этого на Ходынское поле...

Но тем и сильна наша доблестная армия, что нет для нее непосильных задач. Приказали переучить, переучим. Хоть за ночь до парада.

И переучили... За день до генеральной репетиции приехал министр обороны. Для обычного рядового лейтенант безусый – лицо авторитетное. Полковник – царь. О генералах и говорить нечего – титаны. Поэтому министр обороны – почти Бог. Вернее, без почти, Бог – и все. Смотришь на него, как на очевидное-невероятное, восьмое чудо света, трепещешь. И все в строю трепещут, от старшин до генералов. На том армия и держится, как я понимаю.

Прибывший на прогон министр был последним из своих предшественников, кто сам прошел Отечественную войну. Странно, но, увидев его, я, вопреки ожиданиям, не испытал того холопского страха, к которому, увы, и меня приучила армейская служба. Судя по всему, это был человек по своей природе мягкий, с хорошо устоявшимися гражданскими принципами, хотя и старой, конечно, закалки. Не веяло от него ни солдафонской строгостью, ни показным высокомерием, которыми до мозга костей были пропитаны его золотопогонные подчиненные. Я, не испытывавший к отцам-командирам, да и вообще к армии особой любви, по-хорошему удивился его открытому улыбчивому лицу. Сама собой всплыла в памяти строчка из лермонтовского «Бородино»: «Слуга царю, отец солдатам». Сегодня, зная о событиях августа девяносто первого года, можно сколько угодно посмеиваться над этим, но тогда, в первых числах мая девяностого я (да, может, и не один я) думал именно так.

Затем следовали две ночные репетиции на Красной площади, и на каждой раза по два прогоняли весь парад. В принципе, ничего особенного. Единственное, что заставляло содрогаться, так это заполонившая центральные московские улицы тяжелая военная техника. Невольно вспомнилась черно-белая, пробитая серой рябью, военная кинохроника уличных боев. Привыкли мы к этой кинохронике. Смотрим ее, как что-то совершенно нас не касающееся, мифическо-эпическое. Отстраненно смотрим. А ведь на самом деле, все там нас касается. Не было бы этих боев, не было бы ни нас, ни вообще всей сегодняшней жизни. А она – есть. Плохая ли, хорошая ли, кому как. Но мирная. И в этом вся соль. В этом вся правда.

Меня всегда поражало то обстоятельство, что День Победы приходится на самое прекрасное время года, когда все вокруг покрыто молодой листвой, первыми цветами и обласкано начинающим набирать высоту солнцем. По мне, так это знак Господа: истинная, праведная победа не могла случиться ни зимой, ни осенью, ни даже в разгар жаркого знойного лета. По крайней мере, мне так кажется.

И вот именно в такой солнечный и зеленый день я стоял во втором ряду с правого фланга. И все выглядело точно так, как и полгода назад, только гораздо торжественней, светлей и ярче.

На параде было множество новшеств, одно дефили чего стоило. Художники-оформители воспроизвели памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Его изображал не то артист, не то действительно солдат, державший на руках девочку. Одну из войсковых частей московского гарнизона переодели в форму времен Великой Отечественной войны. Если не ошибаюсь, была даже конница.

Но радость почему-то не проникала в меня. Все смотрелось бутафорски, как декорация к давно наскучившему спектаклю. Гимн звучал обыденно и вяло, а ветераны, наряженные в безвкусные серые костюмы, показались нам чрезмерно уставшими. Ничего, кроме сочувствия, они у нас не вызывали. Хотелось, чтобы поскорее все это закончилось. Почему? Не знаю. Быть может, потому, что наступало новое время? Оно на наших глазах стучалось и рвалось на тоже как-то бутафорски расчерченную белыми линиями Красную площадь.

Проехала техника. Оркестр быстро перебежал на исходную позицию и двинулся вперед. Мой сослуживец Дима Хенкин шел с малым барабаном первым в шеренге, я с большим – вторым. На подходе к Мавзолею он в вполголоса сказал мне:

– Смотри, Горбач!

– Ага. Похож. В «увал» куда пойдешь сегодня?

– Не знаю. Может, к родственникам. А ты?

– Пиво пить на Арбат.

– А это что за хрень? – вдруг опять произнес Дима. – Слышишь?

И правда, на тухмановский «День Победы» откуда-то сверху нахлобачили «Солнечный круг» Островского. Через несколько секунд оркестранты стали сбиваться с шага и вскоре возникло замешательство. Солдаты и сверхсрочники смотрели на растерянных майоров. Те, в свою очередь, смотрели на генерала, который, как запрограммированный киборг, маршировал впереди, размахивая тамбуриштоком. Большая часть оркестра еще не прошла мимо Мавзолея, а значит, (учитывая прямой эфир), вся эта чехарда стала слышна и видна, как на ладони. Спиной почуяв неладное, генерал дирижерским жестом прекратил нам играть, оставив звучать доносившийся из многочисленных динамиков «Солнечный круг». Нам же приказали что есть мочи бежать в сторону Васильевского спуска. И мы побежали: с большими барабанами, лирами, геликонами... Тысяча человек. Кажется, кто-то даже упал под конец...

А дело все в том, что вслед за оркестром, завершавшим военный парад, должны были выбежать дети с воздушными шарами, чтобы подарить их ветеранам, сидевшим на каменных скамейках близ Кремлевской стены. Но кто-то из звукорежиссеров включил музыку раньше, чем оркестр закончил свое шествие. Нам – молодым солдатам было, конечно, весело созерцать, да и участвовать во всем этом недоразумении, но представление было испорчено. Телеоператоры, вовремя сообразившие, что к чему, быстро отвели камеры в сторону ГУМа. Случившееся усилило мое равнодушие к происходящему и заставило думать о совершенно других, более насущных вещах: об увольнении, о родственниках, о пиве на Арбате.

Так закончился последний Парад Победы в стране, которая чуть больше чем через год прекратит свое существование. Жалко ли мне этой потери?

Не знаю.

Мы поколение раздвоенное, как бы разорванное на две части. Одной ногой мы стоим в той, советской жизни, где все-таки было много хорошего: великая победа в войне (на ней погибли мой дед и прадед, о чем я забывать не могу, не имею на то права), полет Гагарина, наше мирное, и, в общем-то, счастливое детство и юность. Было, конечно, и много плохого. Но ведь запоминается только хорошее.

Радуюсь ли я тому, что происходит сегодня? Тоже не знаю. Об этом надо спрашивать у молодых, тех, кому сегодня – по двадцать. Им не с чем сравнивать: они в этой жизни родились и выросли, и лучше меня знают, что в ней хорошо, а что плохо.

Я же, чем дальше уходит время, тем все чаще и чаще вспоминаю последний свой парад в составе сводного музыкального оркестра на Красной площади, и мне приходит в голову запоздалая и, наверное, странная мысль: может быть, не зря, не случайно в тот день одна музыка наложилась на другую, и мы, такие натренированные и сильные, вдруг сбились со строевого шага и скопом, натыкаясь друг на друга, побежали с Красной площади вниз по Васильевскому спуску...

Тварь

Неужели вышло?! После сонма лет бесплодных мечтаний, жалких неутомимых фантазмагорий о призрачном, невероятном, но упоительно сладостном. Три тысячи тягучих, резиновых дней и ночей мне грезился этот долгожданный миг! Светлый, свежий, как апрельский ручей, легко берущий жизнь из снега и солнца, как летнее искристое утро после утомительного обложного дождя. Вот он пришел, и дышит на меня и сквозь меня пропитанным пряным ароматом луговых трав ветром. Будит заиндевевшую, заостенелую за сонные годы плоть, возвращает к жизни, казалось, на веки погребенную душу. Свобода – имя ему! И важно ли, что вырвана она силой, а не дана даром? Бреду по ней в грязной, обглоданной тюремной робе, впускаю в себя, и знаю – она повсюду. Трогаю ее обветренными, потрескавшимися губами, жадно пью большими хлебками и не могу утолить жажду. Во всем она! Даже в проржавленном конском щавеле, в раздавленных одиночеством замшелых пнях, в серой мертвенности костлявых замоин, в малых и больших, дышащих зловонием болотных лывах. Чем заслужил я это отдохновение? За что мне такое? И никому не надобен я здесь. Разве что одиноко парящему аисту-падальщику, субтильной цапле с жирной жабой в клюве-копье? Хитрой ли сороке, тревожащей густой покой развесистых ветвей одичалой яблони? Трудяге-ежу, везущему на колючем тельце надломанный груздь? Может, им? Ну и слава богу...

Два дня в пути. Сухари давно съедены, сало еще раньше. В карманах дички и щавель. И то отраднo. Но знаю, куда иду. Километров пять, и начнется другая зона, зона отчуждения. Там-то и упаду...

Бронзовый, закопченный по краям диск солнца медленно прячется за ржаво-серый дирижабль облака, проползает сквозь него, спускаясь все ниже и ниже, тянется к шерстяной нити горизонта.

За молодым, редким, погнутым недавним вихревецем березняком виднеется зеркальный осколок речки, а за ней, словно только что вынутый из печи бурый каравай лысой горы. Туда мне...

Запах костра бьет по ноздрям. Голова опасно кружится от голода, глаза суетливо, по звериному рыщут по вечерней дали в поисках отблеска спасительного огня. Где он? В глазах темнеет...

– Беглый! А долоня, як у лягвы! Ишь, какой! Сотворюэ ж боже! – слышу скрипучий голос над собой. Сам чую, лежу на чем-то меховом, теплом и живом. – Не бойсь, Веста разумна псина, не тронет...

Чьи-то вымазанные сажей ладони подносят к моему рту надтреснутую у горлышка крынку, из которой доносится запах спирта.

– Воды бы... – говорю, но меня не слышат.

Выпиваю залпом. Нутро испуганно вздрагивает, но мгновение спустя благодарно отзывается теплом. Как ни странно, будто трезвею от накопившейся усталости, оттаиваю. Те же руки протягивают обугленную со всех сторон картофелину. Разламываю надвое и втягиваю всем своим изголодавшимся существом горячий пар молочно-белой мякоти. Блаженствую. Как мало надо мне...

Их трое. Бичи. На зоне, перед побегом, арестанты говорили о них. Первый (видимо, вожак), мужик лет пятидесяти пяти, с длинной, в просмоленных грязно-коричневых комьях бородой. На нем новенькая темно-синяя фуфайка, офицерские бриджи полевого покроя и яловые сапоги. Сидит молча, словно о чем-то думает, и внутри же себя рассуждает. Его лицо постоянно меняется, являя то беспокойство, то умиротворение, то равнодушие. Кажется, что по чьей-то неведомой воле он должен нести ответственность за своих собратьев.

Двое других – помоложе. Один – бледно-рыжий и лысый, в крупных бесформенных веснушчатых пятнах, спускающихся с безбородого, гладкого как у ребенка лица до шеи. Шея же опасно тонка, да так, что голова кажется несоизмеримо огромной, словно обузой ей. Постоянно курит махру пополам с мелко нарезанным сушеным яблоком. Смесь лихо забивает в скрученную из газеты козью ножку, близнецов которой время от времени штампует себе впрок. Беспременно заходится кашлем, утыкаясь ртом в свой почти детский кулачок, сморкается в большой шершавый лист лопуха и как будто чего-то ожидает.

Другой – узкоглазый, скуластый и смуглый, с густой шапкой смолянистых волос. Деятельный, бойкий, он внимательно следит за костром и за увесистым окороком, жарящимся на стальном пруте. Постоянно недовольничает, смешно побряхтывает и матерится невпопад. Это он назвал меня беглым.

Солнце заходит, оставляя на прощание над горизонтом рваную, похожую на разлитый кисель малиновую полоску. Редкие звезды уже смотрят сквозь уставшее, точно изношенное, дырчатое небо, а бледная щекастая луна с каждой минутой становится все ярче и мудрее.

– Сейчас начнется... – смотря в сторону лысой горы, глухим голосом говорит рыжий.

Я не придаю значения словам, наслаждаясь так вовремя пришедшей сытостью. Она разливается по изнуренному долгой дорогой телу, точно волшебный эликсир лечит его и усыпляет. Но собака-подушка вдруг вскакивает с места, становится в бойцовскую стойку и начинает истошно лаять в сторону лысой горы. Вынужденно приподнимаюсь и выжидающе смотрю туда же.

– На место, дура! – осаждают вожак. – И вы тоже расслабьтесь, дурни. Семеныч, дай беглому рогача, а то от картошки ему не больно сытно будет.

Собака перестает лаять, но не успокаивается и, поскуливая, суетливо бегаёт взад-вперед. Семеныч (тот, который возится с костром) самодельным тесаком, похожим на мачете, щедро отрезает приличный кусок от почти готового окорока, вонзает в него новенький промасленный стопятидесятимиллиметровый гвоздь и протягивает мне. Я подношу кусок ко рту и вдруг слышу с той стороны реки отчаянный рев.

– Мармооорооу! Аааня!

Он то ли детский, то ли женский, но с явной примесью звериного хрипа. Вдалеке же, сквозь полупрозрачную сыворотку тумана, едва различим человеческий силуэт, то поднимающийся, то опускающийся над вершиной лысой горы.

– Что это? – спрашиваю я.

Бичи оборачиваются, переглядываются и, едва ухмыльнувшись, продолжают молчать.

– Расскажи ему, – робко обращается к вожаку рыжий.

Тот недовольным взглядом окидывает своего собрата, затем равнодушно скользит по мне, устало улыбается и, приглаживая растрепавшуюся бороду, качает головой:

– Зачем ему? У него своих проблем теперь по гроб жизни хватит.

– Расскажи, все равно-то попытаться будет, – настаивает рыжий, опустив водянисто-серые, почти бесцветные глаза. – Пусть лучше мы, чем беглые небылицы складывать станут.

Вожак нервно почесывает бороду, опять чему-то усмехается, машет рукой:

– Ладно... Только пустое все... Налей ему...

Сам еще долго вглядывается в черничное послезакатное небо, лениво выуживает из початой пачки «Астры» сигарету, задумчиво разминает ее закопченными пальцами и, чуть прищурившись на чахнувшие угли костра, начинает:

– Давно это было, еще до всего этого атомного безобразия... Ты пей, беглый, закусывай, не стесняйся. Бери, пока дают... На той стороне деревенька имелась, она и сейчас есть, но не та уже... Безлюдная, пустая... Работал я там пастухом, если занятие это работой назвать можно. Пил по-черному, мда... Со скотиной поведешься, в скотину и превратишься. Так вот, приехала к нам из Гомеля, или из-под него, бабенка чудная. Цыганка ли она была, мультайка, черт ее

разумее, но то что не наших славянский кровей – точно. Чернявая, кудрявая, подбористая. Красивая, падла. А самое главное, на нашего брата падкая. Многих к себе из местных приваживала, пускала то бишь. Я и сам к ней попервой частил, пока не понял, кто она есть и по какую сторону от Бога находится... О, слышь?!

Вдруг опять доносится до нас отчаянное, задиристое: «Мармооороооу!» – только глуше и жалостливее...

– Вот, животинка! Как смерти просит! – прислонив указательный палец к уху, восклицает вожак. – Невмоготу, видать! Ты только подивись, беглый!.. Ну, так о чем я гутарил-то? Ах, ну да... Говорю... А что?! Был грех такой, да и не мужик я, что ли? У нее-то стегна, уух, широченные, а талийка, если двумя ладошами перехватить, коряги-то и смыкаются. Во, какая! Так-то... Жила она попервой вроде как все, хотя, признаюсь, было в ее наружности что-то нечистое, темное, другими словами, умишке простого человека неподвластное. Я так разумею, чаклунка она была природная. Бабы местные, прознав о ее способностях, животинку приводили хворую, да мальцов пуганых. Та и заговаривала их по-своему. Как-то жила, в общем, да и народ со временем к ней пообвыкся. А куда деваться? Жизнь-то никто не отменял! Хотя, повторяю, особой любви не испытывал по причине мной названной. А еще сказывали знающие люди, грех на ней смертный висел, с малолетства. Будто насильничал ее некто, и она вроде как младенца выродила порченого, с ладошками як у пипы, перепончатыми, и, испугавшись изрядно, на смитник снесла. Отвязаться, значит, хотела. Ну, вот и отвязалась, а черт ее за это и наградил чарами бесовскими... Так-то... А когда громыхнуло в восемьдесят шестом, всё тут замысловатое и началось. Народ разумный быстренько поразъехался. Остались лишь песочники, да такие, как мы – бедолажные, которым ехать особо некуда. И она почему-то осталась. Да кто ж ее знает? Думаю, не было у нее никого, кто бы ждал ее и принял. Стала бы она, кабы все путем шло, из Гомеля в нашу тьмутаракань тащиться? А еще сказать надобно, скот и прочая живность, которую в расход пустить не успели или не захотели, разбрелась повсеместно бесхозным образом. Одних волки задрали, другие сами пали, еще каких оставшиеся людишки к себе позабирали... А что, молоко хоть и фонит изрядно, но ведь мо-ло-ко! И вот она из таких, стало быть. Много чего себе в хозяйство подобрала, хотя раньше, окромя курок, ничего-то у нее и не водилось... Хряка породистого, блудного из сосняка вывела, свиноматку супоросную заимела, коняка точно был, корова, коза... Я еще потешался тогда над ней: «Це ж як одна жинка таким зоопарком керуваты здатна?» Но, что и говорить, управлялась...

Прошло года два и стали крики жутчайшие из ее хаты доноситься, да такие, что не то что попытать, а подойти было страшно... А еще через годок начали до нее машины дорогие со столличными номерами приезжать. Откуда прознали? С другой стороны, на то она и власть, чтоб обо всех и о каждом в отдельности представление иметь. Так-то... Приезжали и забирали у нее в ящиках оцинкованных «что-то», «это самое», о чем и догадаться боязно. Но она довольная ходила, гордая даже. Может, приплачивали ей?

Когда же еще пару годков минуло, захворала крепко, видать, не всем здесь в полном здравии оставаться. Радиация, как-никак. Исхудала до неузнаваемости. Скелет, кожей перетянутый. Но стоит отдать должное, как-то шаркала, ходила, значит. Сколько ж веревочка не вейся, концовка одна... В общем, нашли ее бездыханную бичи наши в березняке малом. Ты поди, беглый, проходил его? За сыроежками, должно быть, выползла. Они в те годы крупные вылуплялись, после дождичка-то особенно, с кавун страханский размером.

Хоронить на кладбище не посмели, потому как ведьм разношерстных не положено хоронить в людских местах. Свезли на лысую гору, там у нас раньше давлеников и душегубцев упокоивали... Привезли и поховали. Креста, понятно, не справили. Денька через три приехала опять тарантайка дорогая, покрутилась вокруг хаты и ни с чем укатила. А мы что ж, люди любопытства не меньшего, в дом ее тоже заглянули. Да ничего в нем небывалого не сыскали. А вот зато в сарайчике сыскали. Там, окромя мест для живности ее многочисленной, было

еще одно место странное, вроде как каморочка. В сарае-то! И была в той каморочке люлька, под существо человеческое приспособленная, да только от колоды сарайной мотузка тянулась, и была та мотузка крепчайшая, канатная, должно быть, но – а в этом вся суть – оборванная, а вернее сказать, перекусанная. По всему видать, та тварь, там обитавшая, сбежала... Сечешь, беглый? То-то... Узнали об том все уцелевшие деревенские, милиция тоже прознала, и русская, и украинская, и белорусская. Стали шукать. Но ничего не нашли, хотя слышать слыхивали и даже издали бачили... Поймать же сноровки не хватило, и по сей день не хватает. Потому как в твари этой есть что-то не от мира сего... Ты ешь, беглый, ешь! Чего стремишься?

Я гляжу на зажаристый, порядком подостывший кусок лосятины, но понимаю, что после таких рассказов не полезет он в нутро мое.

– Не лезет... – говорю.

– Да чего там не лезет! – усмешается вожак. – Ешь, не бойсь. Здесь поживешь, и не такое услышишь! И за себя, грешного, не переживай. Я тебе поутру все растолкую. Как, чего тебе робить надобно. Есть тут хаты пустые. Ты хлопец крепкий – выживешь! Много тут вашего брата прячется, в зоне-то... И она, тварюга, тоже прячется. Выходит, похоже вы во всем... А ведь сколько с той поры годков минуло, за двадцать будет, а она все жива, тварюга эта. И ходит до мамки своей на могилку-то. Хнычет всё, воег... Видно, даже у твари безродной душа имеется. Да только не знает она, бедолажная, как с ней распорядиться. Да и виновата ли она в чем, если поразмыслить? Мамку же не выбирают... Иные человеки куда хуже будут. Понатворят за жизнь свою чертовщины с три короба, и живут припеваючи. А обличье у них человеческое, не звериное. Тут же напротив все... Вот и кумекай... Эх, спать надобно. Спи, беглый, и вы все спите... Веста, иди к беглому...

Утро острием солнечного луча безжалостно бьет по глазам, вспарывает по шву, казалось, сросшиеся за ночь веки. Веста уже вертит пушистым хвостом, радостно бегая за всюду суетящимся Семеньчем. Рыжий, сгорбившись, сидит на невысоком пеньке и, время от времени щурясь от восходящего солнца, чистит картошку...

Вожак зачем-то крутится около яблони, курит и все бормочет себе под нос:

– Приходила, приходила тварюга... Вот же...

Через час я уже шагаю за ним к близлежащей мертвой деревне. Послушно внимаю вкрадчивым наставлениям бывалого, всезнающего бича. Что ожидает меня там, за рекой, не волнует. Будущее, как и прошлое, теперь находится по обоим краям узенькой тропинки под названием жизнь. Одна она представляет для меня интерес.

И только подходя к реке, случайно оглянувшись на оставленных позади Рыжего и Семеньча, припоминаю увиденное ночью.

Помнится, заснул сразу, да и как не заснуть после двух дней изматывающего пути, чистого спирта и удивительных сказок на ночь. Да еще под разноголосый убаюкивающий треск цикад, кузнечиков и непрестанное залиvistое кваканье болотных жаб. К тому же, воздух ночной, перемешанный с терпким дымом костра, настоянный на луговых травах и пропитанный сладковатой сыростью близкой речки, обжигал своей свежестью и подобно морфию усыплял. Удивительно, но не привиделось мне ничего дурного тогда, хотя должно, наверное, было привидеться. Спал я сном мертвецким, каким бог награждает лишь в раннем детстве. И только под утро, когда псина, притомившись лежать подушкой под моей головой, поднялась и распласталась в ногах у вожака, очнулся я и увидел возле развесистой яблони какое-то существо. Пола оно было женского и облика необычного. Голое, с кожей человеческой, но огрубевшей, словно подпаленной огнем, и покрытой всюду обильной клейкой испариной, с шестью кровотокающими сосцами, щетиной черной усеянными, и с таким же, как у варанов тропических, бородавчатым гребнем на холке. Руки же у него – крохотулечки не доросшие, а ноги, напротив – толстые, слоновые, с раздвоенными бурыми копытцами. На голове же волосня черная с частой проседью, почти человеческая, только гуще, длинная и выющаяся...

Смотрю я и понимаю, что существо это слепое, потому как глаза его наглухо затянуты бельмами размером с пятак. Стоит оно, и добродушно лыбится рыльцем пороссячим. Словно донести до меня хочет: «Пойдем со мной, человечиче! Или не такая же ты тварь, как и я?! Вместе-то нам сподручней управляться в миру будет...» И, мол, никуда тебе от этой правды не деться!

Но не боюсь я почему-то. Не боюсь и все. Может, оттого, что зверю зверя бояться незачем? Одной ведь кровушкой живы. Привстаю на корточки, думаю подняться, подойти ближе, но оно возьми и испарись, будто и не было его вовсе...

Собачья жизнь (повесть)

Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им ничего больше не остается, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных.

Ф. Энгельс.

Человек хуже зверя, когда он зверь.

Р. Тагор.

Вера Сергеевна была женщина слабая и глупая, отчего мужу своему подчинялась беспрекословно. Даже в самых что ни на есть мелочах она старалась быть покорницей. И может, как раз это не столь положительное качество легло в основу их крепкой супружеской жизни, которая длилась уже довольно долго – без малого десять лет. Вера Сергеевна жила, как мышка-норушка: только что суетилась здесь, хлопотала – и вот уже ее нет. Так и сегодня, январским воскресным утром, закутав двух своих пятилетних сыновей-близнецов, бросив на ходу «до вечера», она растворилась в гуле уходящего лифта.

Удар захлопнувшейся входной двери совпал с мыслью Павла Леонидовича об отменной выучке жены. Добрых пять лет он потратил на это, и вот, наконец, машина заработала, пошла, как по маслу. Вера Сергеевна исчезла с утра пораньше, должно быть, хорошо понимая, что всей семьей им в очередное серо-голодное воскресенье делать нечего.

Нет, конечно, можно было поесть овсяной каши с маргарином и запить это все кофейным напитком «Балтика» без сахара, после чего дружно усесться перед «ящиком» и созерцать какую-нибудь шоколадно-жевательную рекламу. Простите, но в такие дни Павел Леонидович предпочитал оставаться один. И Вера Сергеевна это хорошо знала.

Гольный и гордый он входил на кухню, со знанием дела варил ту самую овсяную кашу, с отвращением ел ее, затем доставал свой потайной сундучок, где в двух коробочках из-под монпансье хранились им же самим недоеденные карамельки и недокуренные папироски. Попивая «кофеек», он медленно прикуривал от электроплитки и начинал думать о том, как ему, такому красивому и умному, жить дальше.

Вот уже прошло почти полгода, как попал он под сокращение, а новой работы так и не нашел. Не было и дня, чтобы бывший ветеринар Павел Леонидович Погорелов не поддавался пессимизму по этому поводу. Жить на крохотную зарплату жены, по его мнению, было стыдно и не вполне нормально.

Молча, не выпуская изо рта папироску, он глядел в окно на гуляющие семейные пары и удивлялся их наглой беззаботности. На ум приходили какие-то странные фразы: «Кончил дело – гуляй смело», «Кто не работает, тот не ест», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» и тому подобные. Потом меланхолия сменялась полемическим задором. Возбужденный кофейным напитком, Павел Леонидович начинал строить планы на будущее, которые с каждой секундой становились все более грандиозными. Правда, секунд этих было до обидного мало, и вслед за ними опять появлялась апатия и, как следствие ее, вторая чашка кофейного напитка и второй, значительно меньший, чем первый, бычок. Усилия Павла Леонидовича даром не пропадали. Его захлестывала волна эйфории, иногда поднимаясь до опасной высоты. Но, собственно, этого Павел Леонидович и добивался. После эйфории можно было ожидать стабильно-ровного, почти хорошего настроения на весь день.

Яркое январское солнце заставило бывшего ветеринара отойти от окна и вместе со своими сумбурными мыслями переместиться на диван. Усевшись поудобнее, он вялой рукой стя-

нул со стола только что принесенную почтальоном рекламно-медицинскую газету «Помоги себе сам», которую непонятно для чего выписала когда-то жена: он и Вера Сергеевна, несмотря на все трудности жизни, были, слава Богу, здоровы. Перелистывая страницы и равнодушным взглядом скользя по череде рекламных объявлений, Павел Леонидович невольно начал думать о том, как много нынче развелось людей, шагающих в ногу со временем, вертящихся и суесящихся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.